

Темы и вариации

Общ. газ. — 2001-8-16, стр. 10
в обстоятельствах времени и места

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

Читая книгу Натальи Ивановой «Борис Пастернак: Участь и предназначение»*, я порой испытывал чувство, будто меня лишают имущества, которым я лишь собирался обзавестись. Что-то в подобном роде мне самому давно хотелось написать...

Пастернак, говорится во вступлении к биографическому эссе, — «фигура мифологизированная и... в общественном сознании сакрализованная...». Положа руку на сердце, ведь не за одни только стихи, в которых нередко сам черт ногу сломит, полюбила и «сакрализовала» поэта интеллигенция? Подозреваю, что не только за стихи — и главным образом не за стихи. В поэзии знают толк единицы, а всем сословием приветствуют не лирику, а сословную общность. Даже не фамилия, а имя и отчество с интимно одомашненным окончанием — Борис Леонидыч — стали символом товарищества по несчастью.

В советскую эпоху интеллигенция попала в бредовый исторический переплет: ее карали от имени ее же внезапно взбесившихся идеалов. Поэзия революции стремительно выродилась в прозу, смахивающую на кошмарный сон. Худшие из «прослойки» примкнули к карателям, лучшие были смертниками, добропорядочное большинство террор обрёл на будни пассивного коллаборационизма. Но интеллигент не был бы интеллигентом, если бы и в атмосфере ужаса забыл о достоинстве, о сохранении лица и не пробовал от безысходности выдать насилие извне за внутренний сознательный и даже полюбовный выбор. Апрель 1936 года, Чуковский и Пастернак вместе с делегатами съезда ВЛКСМ заходят на восторг: на трибуне Сталин. И после, на пути домой, без свидетелей они «упивались... радостью». Мягко говоря, умные, зрелые и талантливые мужчины, скорее всего, не обманывали друг друга, а помогали друг другу обмануться. Заноса это событие в дневник, Чуковский не только на всякий случай оставлял письменное свидетельство своей и Пастернака благонадежности, но, думаю, перво-наперво, лишний раз утверждался в самообмане — ловушка срабатывала, двоемыслие откладывалось до лучших времен. Нам ли не знать возникающего при общении с властью (хоть бы и с управдомом) специфического чувства, которое Пушкин (применительно к себе!) назвал «подлостью в каждой жилке»? Духовный разброд и шатания целого сословия, мучительные попытки примирить непримиримое, подробно отраженные в участии Пастернака, служили интеллигенции утешением и оправдательным доводом: вот же, поэт Божьей милостью, а «мал, как мы!» Любить бы нам Бориса Леонидыча в силу тех же причин и по сей день горячо и благодарно — да власть дала слабину... Трезво истолкованная, Пастернака эта изгойская любовь удручала на старости лет, заставляя считать себя «притязательным ничтожеством».

В самом характере Бориса Пастернака имела черта, позволившая ему жить и работать, меньше иных советских писателей подвергаясь качественно профессиональному перерождению, хотя он ничуть не хуже коллег владел искусством наступать «на горло собственной песне». Есть, если не ошибаюсь, у североамериканских индейцев такой странный обычай — «потлач». Когда распри разрешаются не превосходством в силе, а состязанием в нанесении себе урона. Пастернак на протяжении жизни последовательно занимался чем-то по-

хожим. Он преуспевал во всем, за что бы ни брался, но безжалостно ставил крест на успешном начинании: порвал с музыкой, философией, отлучил себя от поэзии на годы по подозрению в сходе с Маяковским, перечеркивал собственное творчество до сороковых годов (четверть века!), отказался от умения писать мастерскую прозу ради нарочито азбучного письма «Доктора Живаго». Изуверы, вынужденные поэта отказаться от Нобелевской премии, в каком-то смысле вторили логике его судьбы. Кажется, что он не любил победу, чувствовал себя чуть ли не покойно, терпя поражение. Искренно дивился на Мандельштама, который отчаянно отстаивал свою правоту: «...если бы он только решился признать свою вину, а не предпочитал горькой прелести этого созна-



ния совершенных пустяков». Пастернак — принципиальный «лишнее»: «Терять в жизни более необходимо, чем приобретать». Сколько же надо иметь дарования за душой, чтобы так транжирить! Но дарования особого, безлично, как «явление природы», — артистизма как такового.

Инфантилизм и женственность пастернаковского темперамента удивительны. Даже в мелочах: фотографируясь в неполные шестьдесят лет, он трижды меняет туалеты. «...Странность, — замечает Иванова, — если не сказать двойственность поведения, была характерна и для его любовных, и для его дружеских, и для общественных отношений». Подсознательно восполняя недостаток мужественности и зрелости, он жадно подзаряжался от постороннего велевого начала — будь то Маяковский, Горький, Цветаева, Шекспир, Гёте, жена или власть. Чтобы потом, тяготясь благоприобретенной зависимостью, отпрянуть «как женщина», наскучить чужой опекой и «от мамки» рваться «в тьму мелодий...». «Да, да, да... Нет!» — подмеченная мемуаристами манера Пастернака реагировать на слова собеседника.

Во времена, когда террор физически уничтожал одних и ставил на колени других, Пастернак сделал свои странности средством в том числе и нравственной самозащиты. Представлялся списанным в тираж: «Повел и стал чувствовать себя так, словно нахожусь в заключительном возрасте. Главная причина та, что только под таким видом можно жить в России в наше время, не кривя душой». Или блаженным: «Может быть, я многим обязан... диагнозу моего состояния». Или подпрыгивал «вечному детству». И в преклонные годы спохватился: «Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и пятьдесят шесть лет жить тем, чем жи-

вет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, — а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе». Настала пора доказать себе, а заодно и «прослойке», что он не «мал». Под занавес жизни Пастернак попытался романом спасти положение, «вызвать, — как сказано в монографии, — судьбу на себя».

Пластичный (а вовсе не «строптивый») «норов» Пастернака не таил бы в себе опасности для творчества, если бы не обстоятельства времени и места. Советская история решительно подмяла под себя литературный процесс и навязала лирику-модернисту карикатурно-классицистический образ жизни, мыслей и действий, которые поэт с принужденной



искренностью и энтузиазмом выдавал за собственные художнические намерения: «...и вот я спешно перделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, — в поэты — пушкинского». Перделкино, словом: из одной рассудочности — в другую, из усложненности — в «неслыханную простоту», на мой вкус, сильно навредившую роману. Шедвры — «чем случайней, тем вернее» — время от времени слагались вопреки радикальным эстетическим решениям. «Жизнь... по вынужденно сдержанной программе» приучала поэта довольствоваться драматизмом вполне, опощенной разновидностью чувств — чувствительностью. И современники имели кое-какие основания сравнивать Пастернака с Ленским и Бенедиктовым. Поэт и в смертный свой час жаловался на засилье пошлости.

Критические замечания в адрес Пастернака с неизбежностью грешат против этики: каково судить и рядить об авторе, жившем в пору, когда «и воздух пахнет смертью», а искусство — подавно? Совсем не хочется, чтобы мои вариации на некоторые темы биографического эссе Натальи Ивановой были поняты как ханжеский суд относительно благополучного настоящего над заложником страшного прошлого. Но существует как минимум профессиональная надобность разобраться что к чему. Умерший своей смертью Пастернак — жертва истории наряду с убитыми. А с невозможной варварски-эстетской точки зрения — даже более ошутимая. Ибо к Пастернаку, может быть, больше, чем к прочим великим русским поэтам XX столетия, относятся слова, сказанные Блоком на четвертом году советской власти: «...покой и волю тоже отнимают <...> посягая на ее (поэзии. — С. Г.) тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».

* Биографическое эссе. Русско-Балтийский информационный центр Блиц. Санкт-Петербург-2000.